

Свои и чужие

(Дорожные впечатления).

I.

Я оставил уже два города перед занятием их большевиками и мне знакома жуткая атмосфера последних перед отступлением дней.

На улицах разрозненное движение, растерянность на встречных лицах, полу-слова, полу-намеки и бесконечный скрип полозьев, движущихся к вокзалу повозок с эвакуируемым имуществом.

Все, что волновало до сих пор жизнь города, сразу как-то тускнеет перед рядом вопросов, слышимых со всех сторон:

— Кто, как, когда, с кем?

В Уфе уже за две недели до ее оставления жизнь сосредоточилась вокруг одного момента — эвакуации.

В то время, как постепенно вывозились интендантство, земство, почта, казначейство, между этими громоздкими учреждениями просачивались, как в поры, целый ряд «беженцев», — этих несчастнейших из смертных, «примазывающихся» к учреждениям, эшелонам, отдельным лицам, имеющим «право проезда».

Тот поезд, с которым мне нужно было ехать до Челябинска, застрял через две станции от Уфы и, бесплодно прождав целые сутки, я пересел в проезжавший французский эшелон, отступивший с позиций под ст. Чишмы.

Войдя в вагон-теплушку, где около печи с горящим каменным углем расположилось несколько французских солдат, — я, после длинных дней полной отчужденности, подозрительности, и даже враждебности за один «интеллигентский вид» — сразу по-

пал в атмосферу какого-то уюта, предупредительности и сочувствия.

Мне и моей жене тотчас же уступили место на широких нарах, сделав из огромных меховым *carottes* мягкие постели и предложили черного кофе с сахаром.

Потекла непрерывная беседа, легкая и оживленная, с тем очаровательным умением, тайной которого владеют, кажется, только французы и итальянцы, пересыпаемая остротами и шутками, в центре которой стоял, конечно, *un bolchevique russe*.

— У вас русских — большевики не только на фронте, но и в тылу среди рабочих, железнодорожников и крестьян.

— Большевизм — русские все большевики! — слышалось, как постоянный припев, — разлагает Россию. Сама она, едва ли сможет побороть большевистское влияние. Но ей помогут союзники, хотя и не раньше весны.

— Сейчас нас слишком ничтожная горсточка, чтобы повлиять на исход борьбы. Мы присланы сюда для морального подбуждения русской армии и для охраны железных дорог. К тому же сейчас слишком холодно.

— Что делать? Сибирская зима — не для французов! — говорят французы о русских морозах, памятных им с 1812 года.

— Если до весны русские не смогут сломить большевизма, то союзники покончат с ним самостоятельно, стянув войска и урегулировав транспорт.

О железных дорогах французы не могут говорить спокойно и возмущаясь потряхивают головой:

— Oh! la, la, la, la...

И в самом деле можно поверить в скрытый железнодорожный большевизм, если воинский эшелон от Уфы до Челябинска, расстояние в 400 верст, шел девять дней, стоя, по трое суток

на станциях, в ожидании паровозов, которых слишком много брошено замороженными на глухих разбездах.

Теперь, после того, как в газетах появилось сообщение, что уфимские железнодорожники, подняв забойный красный флаг, перешли на сторону большевиков, — начинаешь понимать, что это отсутствие паровозов, загроможденность пути, крушения и задержки, задержки без конца, — есть, по существу, провокационный план.

— *C'est la grève des machinists, grève bolchevisme!* — возмущаются французы.

За этот длинный по времени и короткий пространством путь, французские, чешские, русские эшелоны двигались вперед, лишь угрожая винтовкой и только этим заставляя железнодорожников делать необходимые маневры, чтоб продвинуться дальше вперед.

II.

— *Messieurs — dames! Voulez vous une tasse de café?* — пробуждал нас каждое утро голос, и в постели, при едва расцветающем дне мы пили черный кофе из походных жестяных чашек.

День начинался без унылого упренного русского «попягивания», зевоты, спранных полу-сонных, как будто многозначительных пауз и медлительной, тяжелой лени.

Начиналось встряхивание одеял, чистка платья, бритве, уборка вагона, который благодаря усроенным постелям на нарах, несесерам у каждого солдата, зеркальцам и массе других культурных мелочей приобретал уютный вид и трудно было предположить, что русский товарный вагон-теплушка, к которому подходишь теперь с таким жутким чувством, если предпо-

ип далекий пупь — в руках французов приобретет столь радушний вид.

Многие из наших спутников провели несколько лет в колониальных войсках в жарких, тропических странах, но отсутствие работы, восточная лень и жара полдневных стран не выправили в звуке подвижности француза.

Шутка, остропа, песенка и веселый спор — были постоянными спутниками их дня, казавшегося нам коротким.

Сигнальная труба, играющая в десять утра, просветляла лица французов и «дежурный», перекидывая через плечи несколько флажек, отправлялся за «talia».

— Il faut goûter du talia, — говорили они, пробуя и смакуя вино.

После «talia» настроение у всех заметно повышалось и в веселых шутках они вскрывали слабости друг друга.

Усапый сержант с лицом игрушечного деревянного солдапика, в каскете с широким козырьком и маленькими полями, явил над толстым торговцем-парижанином, обращаясь к моей жене:

— Madame, когда будете в Париже — не покупайте у него молока: он мешает его с водой.

— Madame, — отпарировал торговец при всеобщем смехе, — для Вас я сделаю исключение.

— Он привил худосочие всему молодому поколению Парижа, — вспалял веселый блондин-бретонец с круглым, открытым лицом.

Труба играла снова и с восклицаниями:

— On sonne la soupe! — они отправлялись за обедом.

С настойчивостью, заботливостью и предупредительностью, от которых становилось немного неловко, они кормили

нас супом, бобами, рисом, потом сладким чаем, вечером ужином и снова кофеом.

После обеда, наиболее уравновешенные, усевшись в круг и раскинув карты, начинали играть в la manille.

Смуглый, суровый и молчаливый парижский рабочий, пип каких любил рисовать Поль Сезанн, закуривал свою большую трубку и, смотря в маленькое, заиндевшее окошечко на суровые опроги Урала, заспывал в монументальной позе.

Красивый эльзасец в сдвинутом на бок берете и перевязанный красным широким поясом начинал рассказы про охоту.

И меж рассказов, шуток и остроумия, среди военного повествования или политического размышления — всплывал оставленный, любимый и дорогой образ родины. Безропотно переносилась служба, терпеливо ожидался срок демобилизации и среди суровой зимы чужого края, в теплушке русского поварного вагона сердце и мысль уносились «под солнце Франции», на улицы и бульвары обожаемого «Ранате», как парижский арготизм окрестил столицу Франции.

Французский солдат проявляет какую-то особенную заботливость к своим родным и близким, которая кажется нам прогательной сентиментальностью, пишет еженедельно письма своей «невесте», что ему вполне доступно, как не трудно этому поверить нам, сомневающимся, дойдет ли наше письмо, я не хочу сказать в Москву, а только, хотя бы в Омск.

Среди дня мы идем в классный вагон к офицерам. Здесь несколько иная атмосфера. Несмотря на внешнее радушие, вы чувствуете скрытое, если не вражду, то неуважение лишь только потому, что ты русский. Вспоминаются не раз приходившие догадки и размышления, как будем мы, русские, чувствовать себя, когда снова попадем в парижское кафе, зайдём на выставку или

заглянем в редакцию журнала? Не почувствуем ли мы, что нами брезгают?

— Вы сами понимаете, что мы не можем уже любить русских так, как мы их любили раньше, — несколько папестически заявляет лейтенант, дымя сигарой.

— Русские, за немногими исключениями, несчастный народ, но мы ему поможем встать на ноги, ведь все-таки мы верим в мощь России, — присоединяются к нему другие.

— Мы многое слышали о русской революции, о русской разрухе, но мы ожидали найти меньшее, нежели нашли.

— У русских слишком много церквей и мало школ, они посвящают больше времени молитвам, чем просвещению.

Выслушав ряд, подчас нелестных, но, увы, горьких истин мы снова возвращаемся в вагон к солдатам, где нам кажется веселей и простосердечней.

После ужина начинается кабаре.

Маленький француз с острыми, черными глазками, с подстриженными усиками и прямым пробором выступает на середине вагона и начинает ряд шансонеток, сопровождая пение заученно-выразительными жестами, правда не превышающими достоинством жестикуляцию певца какого-нибудь третье-разрядного парижского кабачка.

За ним выступает долговязый зуав, с длинными руками, большим носом и смешной фамилией, изображая в лицах военное начальство. Он пользуется у аудитории потрясающим успехом. Его фигура, движения и интонации живо напоминают классических героев старинных французских арлекинад. Судя по его уверенности и великолепной мимике, мы подумали, что он актер. Но он оказался не более, чем обыкновенный смертный.

Под конец вечера старый капрал спел военную песню во славу Вердена и импровизированное кабаре закончилось общей хоровой песней...

III.

На десятый день мы прибыли в Челябинск. Наши пути расходились в противоположные стороны. Все же еще при дня мы встречались с нашими новыми друзьями. Бродили с ними по скверному городишку, пили гадкий кофе в полутемных кофейнях и старое, проквашенное пиво на вокзале. Увы, ничем большим мы не могли оплатить за радушный прием.

Попасть в пассажирский поезд, отходящий на Екатеринбург, имея все необходимые пропуска и даже некоторое особое содействие коменданта — оказалось не так-то просто.

Первый день нас постигла полная неудача. Вагоны-теплушки плотно закрыли свои тяжелые, задвигающиеся двери и на резонные увещания, ни на просьбы, ни на требования, ни на мольбы — не хотели раскрываться.

Второй день нас ждал бы тот же результат, если бы я снова стал прибегать к содействию коменданта и помощи милиционера. Но я вспомнил старую русскую «палочку-открывалочку» и небольшая «мзда» открыла тяжелые двери.

Уступленное пол-аршинное место на нарах встало слишком дорого.

Нас «буржуев», т.е. всех сидящих или лежащих на нарах спал выкуривать, выпуская дым из скверной поломанной печи, т.наз. «пролетариат», т.е. то население «теплушки», которое находилось внизу.

Лежащие на нарах татары обтерли подошвы своих «валенок» о спину моей жены, а мне клали ноги прямо на шею. Когда

же мы выразили, хопя и робко, недовольство подобным «обхождением», то получили внушительный ответ:

— Ишь, ты, поже заговорили!.. Их пустили в вагон из милости, а они выражают недовольство.

Само собой разумеется, что «честное» указание на то, что это поезд «все-таки» пассажирский и, что возить ноги одного пассажира на шее другого не входит в число железнодорожных правил — ни к чему не привело: ноги остались «упертыми» в спину, а в виде реплики мы получили предупреждение, что со взятием Уфы скоро «пошевелят» и местных «буржуев».

В дымном, угарном, темном вагоне разболелась голова... Узнав об этом из нашего разговора, сосед военно-пленный успокоил:

— Голова што! Вот сколько скопа ты на себе отсюда унесешь — вот о чем подумай!

Демократический вагон злорадно загогопал. Мы вздохнули, вспомнили французский эшелон и, недоумевая, оба подумали об одном и том же:

— Оттуда же пошла эта слава о хваленном русском добродушии и гостеприимстве?!

Н. Тарабукин

Отечественные ведомости: Орган национальной и государственной мысли (Екатеринбург). 1919. № 12. 19(6) января. С. 2.